

Б И Б Л И О Т Е К А

ISSN 0132-2095



ОГОНЁК

№ 1

1987



Лев ОШАНИН

ТРИНАДЦАТЬ БАЛЛАД

М О С К В А

ИЗДАТЕЛЬСТВО

«П Р А В Д А»

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЁК» № 1

Лев ОШАНИН

ТРИНАДЦАТЬ БАЛЛАД

Москва. Издательство «ПРАВДА»
1987

Лев ОШАНИН

Лев Иванович Ошанин родился 30 мая 1912 года в городе Андропове (Рыбинске) Ярославской области.

Выпустил 60 книг стихов, песен, поэм, очерков, литературоведческих раздумий. Первый сборник стихов «Всегда в пути» вышел в издательстве «Молодая гвардия» в 1948 году, в 1980—1981 гг. там же вышло трехтомное собрание сочинений. Популярны в народе его песни «Дороги», «Течет Волга», Гимн демократической молодежи, «Если любишь — найди», цикл «А у нас во дворе», «Желтоглазая ночь», «Талая вода» и другие. Широко известны его лирические стихи.

Но, кроме песен и лирики, поэт всю жизнь работает еще в одном жанре, этот жанр — баллада. Есть у него и два романа в балладах: «Вода бессмертья», где речь идет о легендарных походах Александра Македонского, и «Талисман Авиценны». Настоящая книжка целиком посвящена балладе.

А. И. Ошанин — профессор Литинститута имени Горького, лауреат Государственной премии СССР, заслуженный работник культуры Узбекистана, почетный гражданин г. Кировска Мурманской области и г. Андропова.

БАЛЛАДА О НАДЕЖДЕ

В саду на закате весеннего дня,
Где пенится вишневый цвет,
Он тянет к ней руки: — Ты любишь меня? —
Она улыбается: — Нет.
Два года он ходит за ней по пятам,
Не зная покоя и сна.
Уедет, уйдет, пропадет, но и там
Мерещится всюду она.
И вот он опять к ней стучится в окно,
На дикую птицу похож.
— Что прячешь ты в сердце и есть ли оно?
Кому ты его бережешь?
Твой взгляд, и походку, и след на снегу,
И злость твою даже любя,
Я ждать не могу, и отстать не могу,
И жить не могу без тебя.
Она золотистые брови свела.
— Тебе меня лучше забыть.
Что сделал ты в жизни, какие дела,
За что тебя можно любить?
— Так вот ты какая? — кричит он в ответ,
Надеждой и гневом объят. —
Прощай же и знай — невозможного нет.
Другим возвращусь я назад.
А что впереди у мальчишки? Война —
Осколков слепые дожди...
И, руку ему протянув из окна,
Вздыхнула она: — Приходи.
Пять лет на солдатские плечи легли,

Пять дымных и яростных лет.
На тысячах верст обожженной земли
Его отпечатался след.
И, весь от наград и от звезд золотой,
Он снова в окно ей стучит.
И, вновь ослепленный ее красотой,
В заветные очи глядит.
В саду на закате весеннего дня,
Где пенится вишенный цвет,
Он тянет к ней руки: — Ты любишь меня? —
Она улыбается: — Нет.
— Когда-то хотела ты славы мужской,
Взяла меня слава в друзья.
Но грустно качает она головой:
— Приказывать сердцу нельзя.
— Зачем же в ту ночь ты надежду зажгла
В мальчишеском сердце моем?
— Надежда в ту ночь тебе силы дала,
Хранила тебя под огнем.

1948—1961

ВОЛЖСКАЯ БАЛЛАДА

Третий год у Натальи тяжелые сны,
Третий год ей земля горяча, —
С той поры, как солдатской дорогой войны
Муж ушел, сапогами стуча.
День-то занят, зато в непроглядную ночь
Думы душу секут, как дожди.
Он и на слово смолodu был не охоч ,
Ну, а писем и вовсе не жди.
На четвертом году прибывает пакет.
Почерк в нем незнаком и суров:
«Он отправлен в саратовский лазарет,
Ваш супруг, Алексей Ковалев».
Председатель дает подорожную ей.

То надеждой, то горем полна,
На другую солдатку оставив детей,
Едет в город Саратов она.
А Саратов велик. От дверей до дверей
Как найти в нем родные следы?
Много раненых братьев, отцов и мужей
На покое у волжской воды.
Наконец ее доктор ведет в тишине
По тропинкам больничных ковров.
И, притихшая, слышит она, как во сне:
— Здесь лежит Алексей Ковалев.
Нерастроченной нежности женской полна,
И калеку Наталья ждала,
Но того, что увидела, даже она
Ни понять, ни узнать не могла.
Он хозяином был ее дум и тревог,
Запевалой, лихим кузнецом.
Он ли — этот бедняга без рук и без ног,
С перекошенным, серым лицом?
И, не в силах сдержаться, от горя пьяна,
Повалилась в кровать головой,
В голос вдруг закричала, завывала она:
— Где ты, Леша, соколик ты мой?!
Лишь в глазах у него два горячих луча,
Что он скажет — безрукий, немой!
И сурово Наталья глядит на врача:
— Собирайте, он едет домой.
Не вернуть тебе друга былого, жена, —
Пусть как память живет он в дому.
— Вот спаситель ваш, — детям сказала она. —
Все втроем поклонитесь ему!
Причитали соседки над женской судьбой,
Горевал ее горем колхоз.
Но, как прежде, вставала Наталья с зарей,
И никто не видал ее слез.
Чисто в горнице. Дышат в печи пироги...
Только вдруг, словно годы назад,
Под окном раздаются мужские шаги,
Сапоги по ступенькам стучат.
И Наталья глядит со скамейки без слов,

Как, склонившись в дверях головой,
Входит в горницу муж — Алексей Ковалев —
С перевязанной правой рукой.
— Не ждала? — говорит, улыбаясь, жене.
И, взглянув по-хозяйски кругом,
Замечает чужие глаза в тишине
И другого на месте своем.
А жена перед ним ни мертва, ни жива...
Но, как был он, в дорожной пыли,
Все поняв и не в силах придумать слова,
Поклонился жене до земли.
За великую душу подруге не мстят
И не мучают верной жены.
А с войны воротился не просто солдат,
Не с простой воротился войны.
Если будешь на Волге — припомни рассказ,
Невзначай загляни в этот дом,
Где напротив хозяйки в обеденный час
Два солдата за братским столом.

1945

ТАЕЖНАЯ БАЛЛАДА

К костру старика подошел молодой
С глазами, наполненными бедой.
И на землю, сдвинув с плеча ремешок,
Швырнул горностаевых шкурок мешок.
Вокруг — лишь кедровок простуженный крик.
«Однако, добытчик!» — подумал старик.
Подвинув к нему подоспевший кулеш,
Сказал молодому: — Однако, поешь. —
Лишь ветер сбежал по ветвям сосняка,
Лишь ложка гремела о край котелка.
— Добро! — Молодой сунул ложку в сапог. —
Изрядно зажился ты, старый пенек!
Но, может быть, снова к тебе я приду,

Еще ты умеешь готовить еду! —
Безжалостным смехом зайдясь молодым,
Куражась, блеснул он зубами сквозь дым.
И вдруг его каменная рука
Схватила и сжала плечо старика.
— Послушай, с чего б это: в чаще лесной
Глаза неотступные ходят за мной?
Сквозь ветви, сквозь хвою и ночью и днем
Я чувствую их на загривке моем.
С чего это? —

Руку убрал он с плеча...
Старик не спеша подложил кедрача.
Когда языки огневые взвились,
Ответил негромко старик:

— Это рысь. —
И, зная, как тропка ночная хитра,
Вздохнул он:

— Однако, поспи у костра. —
Юнец не ответил. Он встал, и зевнул,
И прочь от костра в темное лесье шагнул.
Старик повернул за ним следом лицо,
Услышал, как тяжело ложатся шаги,
Подумал:

«Однако, боится тайги», —
И встал неторопко, и взял ружьецо.
Бесшумно, как в воду, нырнул он в тайгу.
Стал стройным на быстром и легком шагу,
Была ему каждая тропка своя,
Он сам был как лес, как сосна, как хвоя.
Затихнув, услышал он шорох в кустах, —
Там зверь, его злоба сильнее, чем страх.
Зверь замер. Сейчас он сорвется во тьму,
Навстречу добыче, на плечи к тому.
А тень молодого качалась вдали,
Сливаясь с тенями стволов и земли.
Зверь прыгнул. Но в злобе слепого прыжка
Был срезан коротким огнем старика.
И, ставший тяжелым, ломая кусты,
Он рухнул беззвучно за край темноты.
Юнец постоял, подтянул ремешок,

Надел поудобней тяжелый мешок
И двинулся дальше, тихонько ворча,
Что лучше б старик не жалел кедрача,
Что лучше бы спал, привалившись к кусту,
Чем попусту ночью палить в темноту.

БАЛЛАДА О ДВУХ ГОРДЕЦАХ

облака белы,
И, вся в лучах за их стеной неплотной,
Девчонка, свесив ноги со скалы,
Сидит, читая книжку беззаботно.
Подставив солнцу локон золотой,
Над пропастью легко и домовито
Сидит земная, в кофточке цветной,
Наполовину облаком укрыта.
Он с ходу дал машине тормоза.
У ног ее он под скалою замер,

Скрестив прямые серые глаза
С ее зеленоватыми глазами.
Такой еще не видел меж людьми.
— Садись! — Он крикнул хрипло и невнятно.
Девчонка усмехнулась:

— Не шуми.

Тебе туда, а мне как раз обратно.
Он бросил «газик» легонький вперед.
От первых звуков голоса пьянея.
Верст за пять отыскал он разворот
И снова появился перед нею.
Хитер, однако, малый. — Будь добра
Расстаться с облаками и скалою... —
Ну что ж. Теперь, пожалуй, ей пора.
Пусть отвезет домой на речку Ою.
И так пошло с тех пор — в неделю раз,
А то и чаще, хочет иль не хочет, —
Нарушив график, поломав приказ,
На Ою непременно он заскочит.
Она встречала, за руку брала,
Своим вареньем потчуя таежным.
Не то чтобы насмешлива была,
Но просто все с ней было невозможным.
Он был с ней тих, непоправимо тих,
Беспомощен, как вялый лист герани.
А ей, саянской, нужен был жених,
Чтоб был на «ты» с лесами и горами.
...И вот однажды, в час глухого сна,
Вскочив, как будто чем-то укололась,
Упрямый стук услышала она
И хриплый голос, хриплый темный голос.
Он звал ее, измучась, осмелев...
И, наскоро накинув одежонку,
На босы ножки туфель не надев,
Пошла к нему бесстрашная девчонка.
Он ждал ее, как берега матрос.
Пускай она не любит и не верит —
Схватил ее в охапку, и понес,
И бросил на холодный темный берег.
Могучий и жестокий, пьян и груб...

Без свадьбы, без согласия милых губ...
Потом очнувшись, кинулся за руль,
Как от погони, как от свиста пуль!..
Вот мчится мимо Минусинск полночный.
Куда он гонит? К Абакану? Точно!
Здесь поворот, иных кавказских круче.
Еще мгновение — и во мгле дремучей,
Не в силах посмотреть в глаза друзей,
Сорвется он с отвесной черной кручи
В холодный непроглядный Енисей.
И молча Енисей сплотит волну
Над этой непутевою могилой.
И человек без слез друзей и милой
Уйдет навек в глухую тишину.
Так будет через миг. Но этот миг
Один всей жизни, может быть, яснее.
Взгляд босоножки в памяти возник...
А что же с нею? Что же будет с нею?
И, бросив «газик» вдруг наискосок,
В плену другого, нового порыва,
Он взрыл упругим колесом песок
За десять сантиметров от обрыва.
Назад! Не видя черного пути,
Помчался он по памяти без света.
Подлец, подлец... Как смеет он уйти
От жизни, от любви и от ответа!
Не с сердцем —

с глиняным комком в груди —
Облазил он речной пустынный берег.
...Нашел босую на крыльце у двери
И на колени кинулся:

— Суди. —

Увидел боль в глазах зеленоватых,
Прекрасных и ни в чем не виноватых.
Охваченный любовью и стыдом,
Слова он выговаривал с трудом:
— Прости меня, прости за все, что было...—
Но, с поперечной складкою на лбу,
Девчонка встала, закусив губу.
Дрожали руки — так ее знобило.

Ударит? Закричит? Уйдет домой?
Он ждал, на все готовый и немой.
Но как девичью душу угадать? —
С коротким, с незнакомым вскриком:

— Милый! —

Она его руками обхватила.
Он замер. И забормотал опять:
— Прости, прости. Забудь о том, что было... —
И вдруг сверкнул упрямый огонек
В глазах зеленых:
— Глупый, что б ты мог,
Когда бы я тебя не полюбила!

1958—1962

БАЛЛАДА О ПРИВЫЧКЕ

Его любили, так любили,
Что про себя совсем забыли,
Что счастливы, должно быть, были
Лишь тем, что рядом он сидит,
Что рядом дышит, рядом пишет,
Ответит или не расслышит,
Погладит или поглядит,
А он внимание брал, как дань,
Порою тяготясь заботой,
Платил насмешкой и зевотой.
И клал почти что с неохотой
На маленькую руку длань.
И так привык он, что соседка
Всегда послушна, вечно тут,
Как стол, перо или планшетка,
Как ручка двери в институт...
И вдруг — один.

Все так же в мире,
Как было, — стол, доска, стена.
Он потянулся, сел пошире...

И понял, что она нужна!
С чего же нет ее? Больна?
Он поглядел вокруг несмело.
Она? Не может быть! Она.
Пришла и просто пересела?
Он хохотнул закрытым ртом
И поманил ее перстом.

Она в ответ слегка кивнула,
И отвернулась, и зевнула.
И все закончилось на том.

Сорвавшись с места всех быстрей,
Он мерз, дежуря у дверей.
Он ждал ее послушных глаз.
Ждал их, едва ль не в первый раз,
И думал, как они красивы.
А брови писаны курсивом,
И милый рот... И вся она
Неуловима и стройна...
А он-то был с ней так небрежен
И улыбался ей все реже...
Идет! Он вырос на пути.
Услышал тихое: «Пусти».
— Пстой, притворица. Назло
Все это! —

Он не знал: браниться?
Просить? Сказать, что будет сниться?
Поклясться иль посторониться?
Но грустно поднялись ресницы:
— Не надо. Просто все прошло.—
Он захлебнулся. Дурень сонный!
Он воротник рванул тугой.
Он будет новый, озаренный,
Заботливый, неутомонный...
Снег хрустнул под ее ногой.
— Прощай и стань таким с другой.

1961—1964

БАЛЛАДА О МАЛЬЧИКЕ И МУЖЧИНЕ

Вас трое, вас трое в мире всего —
И все за одним столом.
Так, как ты ненавидишь его,
Тишину ненавидит гром.
Так река не выносит сухой травы,
Так солнца не терпит снег.
Рядом трое — молчите вы —
Ты, она и тот человек.
Ты глядишь на него: зачем он пришел,
Словно вынырнул из реки?
Он сидит, кулаки опустив на стол,
Тяжело опустив кулаки.
А она? Ты смотришь ей в глаза,
Ты заглядываешь ей в лицо,
А она отводит глаза.
Она опускает лицо.
Лицо, которое любишь ты,
Как холод трубы трубач,
Как ночь звезду, как пчела цветы,
Как рука волейбольный мяч.
Ее худенький голос стал хрипловат:
— Вот двенадцать часов пробьет, —
Хоть никто тут не виноват,
Так нельзя, пусть один уйдет.
Ты с ней в школе бегал еще на каток
И по тропам окрестных лесов.
Кто такой тот, другой? Ты упрям и жесток.
Бьют часы двенадцать часов.
Пока они только начали бить,
Время есть еще все спасти.
Ты успеешь поцеловать. Убить.
Или просто встать и уйти.
Вы сидите оба в пальто,
Словно гири на чашах весов.
Не решился ты ни на что,
Бьют часы двенадцать часов.

Тот, другой, собрал кулаки со стола
И засунул в пальто на ходу.
Обернулся у двери, хмур добела:
— Пусть сидит. Я завтра приду.—
Он ушел. Ты один с ней рядом теперь,—
Значит, счастье будет твоим.
Но что это? Слышишь, хлопнула дверь—
Это она бежит за ним.

1961

БАЛЛАДА О КРАСОТЕ

Это были счастливы. Те,
Которые даже
Встретились в красоте
Ленинградского Эрмитажа.
Он глядел, как толпятся вокруг
Все века и меридианы.
Но появилась она. И вдруг
Потускнели Венеры, поблекли Дианы.
А она, отмеченная судьбой,
Подняла глаза, холодея,
И увидела перед собой
Прометея.
Слушай, время, повремени-ка.
Дрогнул голос, который необходим.
— Ты Венера?
— Нет, Вероника.
— Я искал тебя.
— Кто ты?
— Я Вадим.
Десять дней между ними таяли льдинки,
Привыкала к руке рука.
Они, как будто две половинки,
Друг друга искали издалика.
Им кричали воды Невы и залива,

Зеркала дворцов и все вокруг:
— Ребята, вы вместе так красивы,
Смотрите, не разнимайте рук! —

Десять дней просвистели. И все умолкло, —
Не воротишь обратно, не пролетишь.
Потому что его дожидалась Волга,
Ее — Иртыш.
Десять дней — это просто первое слово.
Остались невидимые провода.
Через месяц они увидятся снова,
И на этот раз навсегда.

Он в поезде. Ляг, дружок, прикорни-ка.
От белых ночей голова в дыму.
«Вероника, Веронька, Вероника...» —
Колеса нашептывали ему.
А она летит к сибирским рябинам.
Небосвод вокруг нелюдим.
Но с каждого облака смотрит в кабину
Вадим, Вадим, Вадим.
Ресницы, которые взгляд ее ловят,
Серых глаз удалой распах.
Теплой пшеницей нависшие брови
И детские ямочки на щеках.
Таким запомни его, Вероника.
Как назад не вернется в реке вода,
Как не втянешь в горло взлетевшего крика,
Так его не увидишь ты никогда.

Почему никогда — разве были лживы
Глаза, и руки, и небеса?
Почему никогда, если оба живы
И вот они — адреса?
Правда, был он при смерти две недели.
Пришел в себя, не поняв, почему
Бинты ему на голову надели,
Горло повязкой сжали ему.
А до этого легкость такая и смелость.
И все удавалось. И вдруг этот крик...

Просто не было выхода — загорелось,
А он был рядом, и он не старик.
А крик ребячий откуда-то сверху.
Сквозь огонь он все-таки добежал,
Схватил мальчишку, прижал к сердцу
И рухнул с третьего этажа.

Когда пришел в себя понемногу,
Шевельнул руками — их боль не жгла.
Пощупал двойную от гипса ногу —
Сказали: срастется. Будет цела.
И вдруг, когда голову разоблачали
От бинтов, лежавших белым венцом,
В очках врача он поймал вначале
То, что считалось теперь лицом.
Это может только присниться —
Кровавая маска, сплошной ожог.
Ни бровинки-пшеничинки, ни ресницы,
Ни ямочек на щеках, ни щек.

Он закрыл глаза и сжал зубы,
Равнодушьем дивя врачей.
А в ушах его пели весенние трубы
Ленинградских белых ночей...

Еще едва ковыляя, в гипсе,
Твердо вывел, дыханье зажав в груди:
«Прости, Вероника. Я ошибся,
Я тебя не люблю. Не жди».
Она не могла поверить такому
Внезапному, дикому, наотрез.
Почувяв беду, все бросила дома,
Примчалась к нему. А он исчез.

Люди, надо жалеть его? Нет, не надо.
Хоть гордость горька в своей наготе.
Вот на этом и кончилась баллада
О красоте.

1966

БАЛЛАДА ОБ ОДНОЙ ЖЕНИТЬБЕ

Генерал, на войне потерявший семью,—
Одинок, прославлен и сед,—
Влюбился, выбрал судьбу свою
Двадцати с половиной лет.
Лучший друг ему обещал
Инфаркт через десять дней.
И он не позвал его в свадебный зал,
Когда женился на ней.
Ей все по душе в женихе своем —
И то, что на людях строг,
И то, как нежен, когда вдвоем...
А мальчишки — какой в них прок!
Подружка шумела: — Сошла с ума.
Он старик. Разве ж можно так! —
А про себя шептала сама:
— Что он нашел в ней, чудак! —
Подружкам, матери, всем назло
Она свою свадьбу играла.
И люди решили: «Вот повезло —
Вышла за генерала».
Он себя ни в чем не умел щадить
С юношеских времен.
И поэтому, может быть,
Все был молод душой и силен.
Взгляд не должен тут лезть ничей,
Ничьей не надо молвы,—
Но чистой ярости их ночей
Завидовать можете вы,
И с незагаданного числа,
Как положено, по-людски,
Сына его она понесла —
Кусочек любви и тоски.
Тоски по всему, что он потерял,
Что оставил за тем крыльцом.
На руках носил ее генерал
За то, что будет отцом.

А она стала старой стены серей —
Глаза, как кольца, пусты...
Так стало жалко ей своей
Тоненькой красоты.
Так стало жалко, что жизнь пройдет
В пленках, под визг и плач.
Только все началось, и вот
В няньки себя запрячь.
Ведь она сама еще так молода
И так хороша — посмотри.
Да если он любит — пускай тогда
Потерпит годика три.
Но тут узнала она, как он строг,
Как держит слово свое.
В восемь глаз он сына берег
И уже любил сильнее, чем ее.
Отвез ее ночью в родильный дом
На муки, на кровь, на страх,
Она там лежала мешком со льдом,
С облаками в пустых глазах.
Кормить? Усмешка прошла по губе,
Скосила глаза чуть-чуть.
Она не может позволить себе
Испортить такую грудь.
Сестра на нее махнула рукой
(Тоже, здрасте, балет!),
Подложила сына ее к другой
Девчонке таких же лет.
А та захлебывалась молоком,
А у той, кроме слез, никого,—
Мужчина пришел и ушел бочком,
А тельце сына мертво.
И она привязалась ждущей душой
В полудетской своей простоте
К этой маленькой жизни чужой,
Проснувшейся в жадном рте.
Генерал пишет письма в больницу жене,
Икру с земляникой шлет.
А та облака считает в окне.
А в глазах ее щурится лед.

И когда открыла ему сестра
Душу его жены —
На него, сквозь все огни и ветра,
Пахнуло пеплом войны.
Человек, потерявший семью, —
Одинок, прославлен и сед, —
Влюбился в беленькую змею,
От которой тепла ему нет.
Но он недаром со смертью играл,
Чтоб была землею земля.
Он душой и поступками генерал,
Свою волю воле веля.
Стиснув губы в одну черту,
Не сказав жене ничего,
Из больницы он под руку вывел ту,
Что кормила сына его.
Первый раз они смотрят друг другу в глаза.
Надо столько понять и забыть.
Друг без друга им быть уже нельзя,
А вместе можно ли быть?

1964

БАЛЛАДА О СТАРОМ КУЗНЕЦЕ

Сколько их еще прибудет?
Весь поселок у крыльца.
Здесь сегодня судят люди
Заводского кузнеца.
Не прорваться, не пробиться,
Не протиснуться вперед.
Что он сделал? Он убийца.
Тише, люди. Суд идет.
Тихо руки опустил он
Все в мозолях и узлах.
В них молчит такая сила,

Что уже внушает страх.
Каждый шею тянет с места,
Чтоб взглянуть на кузнеца.
Говорят, отец семейства?
Как же — дочь и два мальчика.
Где ж убил он? Прямо в кузне,
Там, где тени по углам.
Как же схвачен? Кем же узнан?
Говорят, признался сам.
На лице простом и грубом
Время подвело черту.
А его любили люди,
Говорят, за доброту.
Ишь ты как. Народ дивится —
От добра не жди добра...
А убитая девица,
Кем она ему была?
Та подсобница со стройки,
С белой пряжкой кушачок...
Говорят, что слишком бойкий
У нее был язычок.
Больше мы ее не встретим,
Но спроси притихший зал —
Побежала б с каждым третьим,
Лишь бы он ее позвал.
Хороша, как медуница,
Но не всем ее понять —
Ни учиться, ни жениться,
Только мальчиков менять.
Да, гулящая, шальная,
Злая, как веретено,
Пробивная, продувная, —
Только это все равно.
Все равно, бывал ли с нею,
Целовал ли жадный рот,
Был ли ей других нужнее...
Тише, люди. Суд идет.
Суд идет и знает мало,
Но любовь тут ни при чем —
Та девица не гуляла

С подсудимым кузнецом.
И, от здешнего народа
Тайну женскую храня,
Где-то пряталась полгода
До того глухого дня.
Объявилась утром рано,
Словно тень на каблуках.
Блеск в глазах сухой и странный
И ребенок на руках.

Пять свидетелей вставали,
Воскрешая этот день.
Пять свидетелей видали
Эту пасмурную тень.
То она кидалась к речке,
То к вокзалу. И опять,
Встретив взгляды человечьи,
Поворачивала вспять.

Мы за ней бежим по следу.
Путь ей в кузне перекрыт.
...Подошел черед обеда,
Только горн еще горит.
Порешив уже с делами,
Уходить кузнец готов,
Но еще глядит на пламя
Восемнадцати цветов.
Тот огонь с ним в деле равен.
В том огне подручный скрыт.
Брось в него стекло — расплавит,
Камень брось в него — сгорит.

Приоткрылись вдруг ворота,
И, не видя ничего,
Ворвался снаружи кто-то
Мимо тихого него.
Он увидел в свете горна
Женской пряди полукруг,
Дикий блеск в ресницах черных,
Сверток меж дрожащих рук.

Как сказать об этом словом?
...Спящего, с лицом в ладонь,
Подняла его, живого,
И швырнула вдруг в огонь.
Ахнул зал. Затрепетал он.
От скамьи гудит скамья.
Словно статуя, над залом
Встала женщина-судья.

Дальше. Дальше в путь, баллада,—
Снова в кузне мы стоим.
Знаю я, что нету сладу
С сердцем дрогнувшим твоим.

...Вот она глядит на пламя.
Отшатнулась наконец.
Встретились глаза с глазами—
Перед ней стоит кузнец.
А его то в жар, то в холод.
Та — бежать. Он крикнул: «Стой!»
Подхватил лежащий молот
И взмахнул перед собой.

Вот и все. Пришла расплата.
Суд идет, должно быть, век.
Старый, добрый, виноватый
Перед залом человек.
Мастер Сухов лезет грудью
Прямо с улицы в окно.
— Не убийство,— правосудье
Было им совершено!—
Но опять шумит и спорит
Несмолкающий народ.
Вот какое вышло горе.
Тише, люди. Суд идет.

1964

БАЛЛАДА О ПОГИБШЕЙ СИМФОНИИ

Из шороха шин по асфальту
Рождалось его сочиненье.
Из лепета солнечных окон
И смеха вечерней толпы.
Из голоса городского
И сложного сочлененья
Танцующей электрички
И шелестящей тропы.
Он был симфонией полон,
Как склады универмага.
Он кинулся прочь, за город,
В сиреневую страну.
Рояль он не тронет пальцем,
Нужна ему только бумага.
Руки дрожат от счастья —
Сейчас он уйдет в тишину.
Но уши ему забрызгал
Транзистор с соседней дачи.
Он кинулся с кулаками,
Как на фашистский дот.
Транзистор замолк от страха.
А он побледнел и начал.
И первые такты упали
Под будущий переплет.
Закрыв глаза, он услышал,
Как скрипки тут будут биться,
Как вступят легкие трубы...
Но что это за напасть?!
За окнами на березках
Гремят и щелкают птицы,
Да так, что он над оркестром
Теряет всякую власть.
Они погубят работу!
Он накрест рванул рубаху.
Какой же может быть выбор,
Кому оставаться в живых!
И он разрядил двустволку,

Дробью хлестнув с размаху
Скворцов, малиновок зябких
И зябликов верховых.
Вот когда стало тихо.
Но слышно, как листья мокнут,
Как падают капли и ветер
Шумит, убегая во тьму.
Но это уже очень просто —
Захлопнуть двойные окна.
И наконец остаться
Полностью одному.
Он кинулся вновь к бумаге,
А трубы как неживые.
А скрипки скрипят и потрескивают,
Как серенькие сверчки.
И с длинных линованных строчек
Хвостатые,
Круглые,
Злые,
Бездушные,
Мертвые
Птицы
Таращат свои зрачки.

1968

БАЛЛАДА О МОЕМ ПРАЩУРЕ

От Кольца отбившись Золотого —
Колокольни, гаражи, огни...—
Я стою у города Ростова,
Что Великим звался искони.
Старина глубокая святая,
Память я твою не прогоню,
Летописи древние листая
Отыскал я здесь свою родню.

Не последний, видно, горожанин,
Если был у прочих на виду,
Жил тут земский староста Ошанин
В тысяча шестьсот восьмом году.
Может, был он первым книгочеем,
Может, вепря загонял конем.
Человека звали Алексеем,
Вот и все, что знаю я о нем.
...Было небо тускло, было пего
И беда глядела в каждый двор.
Посылал наймитов Ян Сапега,
Как велел ему тушинский вор.
Не сдержать ростовцам силу злую.
И они, срывая голоса,
Врассыпную и напропалую
Бросились в болота и леса.
Только горсткой безутешных в горе,
Не покинув милые места,
Горожане заперлись в соборе
Под святой защитой креста.
Кто приют последний их отнимет
Посреди икон и строгих плит?
С ними земский староста и с ними
Старый Филарет митрополит.
А пришельцы, — те, что с детства верят
Старостам другим, другим богам, —
Выломали храмовые двери,
Ворвались и осквернили храм.
«Храм разграблен, — писано в бумаге, —
Трупами завален до окон.
А митрополит в худой сермяге
В лагерь к самозванцу отвезен».
И не верь и верь письменным знакам,
Вот они под траурной каймой:
«Был убит и брошен был собакам
Алексей Ошанин» — пращур мой!
Я стою у города Ростова,
Прислонясь к чужому гаражу.
Через войны, через время снова
В темный век семнадцатый гляжу.

Занеся свой меч в святом соборе
Нáсмерть ты стоял, не на живот.
Пращур мой, он не зачах, твой корень,
Корень твой опанинский живет.
Сколько б ни сменилось поколений,
Перепутий и дорожных вех...
И уже мой правнук сквозь сирени
Метит глазом в двадцать первый век.

1985

Из романа в балладах «Вода бессмертья»

БАЛЛАДА О БЕЗРАССУДСТВЕ

Высоки были стены, и ров был глубок.
С ходу взять эту крепость никак он не мог.
Вот засыпали ров — он с землей наравне.
Вот приставили лестницы к гордой стене.
Лезут воины кверху, но сверху долой
Их сшибают камнями, кипящей смолой.
Лезут новые — новый срывается крик.
И вершины стены ни один не достиг.
— Труссы! Серые крысы вас стоят вполне! —
Загремел Александр. — Дайте лестницу мне! —
Первым на стену бешено кинулся он,
Словно был обезьяною в джунглях рожден.
Следом бросились воины, —

как виноград,
Гроздья шлемов над каждой ступенью висят.
Александр уже на стену вынес свой щит.
Слышит, лестница снизу надсадно трещит.
Лишь с двумя смельчаками он к небу взлетел,
Как обрушило лестницу тяжестью тел.
Три мишени, три тени — добыча камням.
Сзади тысячный крик:

— Прыгай на руки к нам! —

Но уже он почувствовал, что недалек
Тот щемящий, веселый и злой холодок.
Холодок безрассудства. Негаданный, тот,
Сумасшедшего сердца слепой нерасчет.
А в слепом нерасчете — всему вопреки —
Острый поиск ума, безотказность руки.
Просят вниз его прыгать? Ну что ж, он готов, —
Только в крепость, в толпу озверелых врагов,
Он летит уже. Меч вырывает рука.
И с мечами, как с крыльями, два смельчака.
(...Так, с персидским царем начиная свой бой,
С горсткой всадников резал он вражеский строй
Да следил, чтоб коня его злая ноздря
Не теряла тропу к колеснице царя...)
Но ведь прошлые битвы вершили судьбу —
То ль корона в кудрях, то ли ворон на лбу.
Это ж так, крепостца на неглавном пути,
Можно было и просто ее обойти.
Но никто из ведущих о битвах рассказ
Не видал, чтобы он колебался хоть раз.
И теперь, не надеясь на добрый прием,
Заработали складно мечами втроем.
Груды тел вырастали вокруг. Между тем
Камень сбил с Александра сверкающий шлем.
Лишь на миг опустил он свой щит. И стрела
Панцирь смяла и в грудь Александра вошла.
Он упал на колено. И встать он не смог.
И на землю безмолвно, беспомощно лег.
Но уже крепостные ворота в щепе.
Меч победы и мести гуляет в толпе.
Александра выносят. Пробитая грудь
Свежий воздух целебный не в силах вдохнуть...
Разлетелся быстрее, чем топот копыт,
Слух по войску, что царь их стрелою убит.
Старый воин качает седой головой:
«Был он так безрассуден, наш царь молодой».
Между тем, хоть лицо его словно в мелу,
Из груди Александра добыли стрелу.
Буйно хлынула кровь. А потом запеклась.
Стали тайные травы на грудь его класть.

Был он молод и крепок. И вот он опять
Из беспамятства выплыл. Но хочется спать...
Возле мачты сидит он в лавровом венке,
Мимо войска галера плывет по реке.
Хоть не ведали воины точно пока,
То ль живого везут, то ль везут мертвяка.
Может, все-таки рано им плакать о нем?
Он у мачты сидит. И молчит о своем.
Безрассудство... А где его грань?

Сложен суд,—

Где отвага и глупость границу несут.
Вспомнил он, как под вечер, устав тяжело,
Войско мерно над черною пропастью шло.
Там персидских послов на окраине дня
Принял он второпях, не слезая с коня.
Взял письмо, а дары завязали в узлы.
— Не спешите на битву,— просили послы.—
Замиритесь с великим персидским царем.
— Нет,— сказал Александр,— мы скорее умрем.
— Вы погибнете,— грустно сказали послы,—
Нас без счета, а ваши фаланги малы.—
Он ответил: — Неверно ведете вы счет.
Каждый воин мой стоит иных пятисот.—
К утомленным рядам повернул он коня.
— Кто хотел бы из вас умереть за меня? —
Сразу двинулись все.

— Нет,— отвел он свой взгляд,—

Только трое нужны. Остальные — назад.—
Трое юношей, сильных и звонких, как меч,
Появились в размашистой резкости плеч.
Он, любуясь прекрасною статью такой,
Указал им на черную пропасть рукой,
И мальчишки, с улыбкой пройдя перед ним,
Молча прыгнули в пропасть один за другим.
Он спросил:

— Значит, наши фаланги малы? —

Тихо, с ужасом скрылись в закате послы,
Безрассудство, а где его грань?

Сложен суд.

Где бесстрашие с бессмертием границу несут.
Не безумно ль водить по бумаге пустой,

Если жили на свете Шекспир и Толстой?
А зачем же душа? Чтобы зябко беречь
От снегов и костров, от безжалостных встреч?
Если вера с тобой и свечение ума,
То за ними удача приходит сама.
...Царь у мачты. А с берега смотрят войска:
— Мертвый? Нет, погляди, шевельнулась рука...—
Старый воин качает седой головой:
— Больно ты безрассуден, наш царь молодой.—
Александр, улыбнувшись, ответил ему:
— Прыгать в крепость, ты прав, было мне ни к чему.

1973-75

БАЛЛАДА О ДОВЕРЬЕ

Если заговоры повсюду
Окружают царя царей,
Как веселье сберечь и удаль,
От льстецов отличать друзей?
Войско царское на пороге
Новых яростнейших побед.
Все ему удастся. Боги
С черной завистью смотрят вслед.
А царю изменила сила —
Словно всю ее сжег дотла.
Лихорадка его скрутила,
Руки-ноги ему свела.
Что виной тому? Не вода ли,
Где купался, оледенев?
Или яд ему подмешали?
Или божий свершился гнев?
Неразжеженный царь, солдатский,
Сжал, чтоб не было крика, рот,
А врачи подойти боятся —
Что, как он невзначай помрет?
Лишь Филипп, мрачноватый, хмурый,
Не покинул его порог.

Всею тощей своей фигурой
Независим, колюч и строг.
— Щедро болен ты, царь. Быть может,
Смерть уже к тебе на пути.
А доверишься мне, я все же
Попытаюсь тебя спасти.
А в глазах у царя застряла
Смерти жесткая стрекоза.
То замрет, то начнет сначала...
Он от боли закрыл глаза,
Поворочал худую думу:
«Верю», — выронил наконец.
Варит зелье Филипп угрюмо.
А в шатер до царя гонец.
Весь в пыли гонец. Дышит зычно.
Трем коням ободрал бока.
Царь в беспамятстве. Но привычно
Прямо к свитку ползет рука.
И папирус из рук не выпал,
И развернут он и прочтен.
То в измене врача Филиппа
Обвиняет Парменион.
Будто взгляд у него насуплен,
Будто мрачен он весь не зря.
Будто персами он подкуплен,
Чтоб сумел отравить царя.
Царь смежил тяжелые веки —
И в тенях перед ним прошли
Все пути, все бои, все реки
От отцовской его земли.
Старый Парменион, он верен, —
Был в чести еще у отца.
А Филипп глядит полузверем,
Полумаскою мудреца.
Всем победам пришло похмелье.
Жаркий волос ко лбу прилип.
— Царь, ты спишь? —

это чашу с зельем

Преподносит ему Филипп.

— А, Филипп, — царь очнулся сразу,
Прямо в душу врача смотря.

Своему доверял он глазу,
Это все-таки глаз царя.
А Филипп, словно так и надо,
Все острее сужал зрачки —
Два прямых, два упрямых взгляда,
Два достоинства, две тоски.
Ну а что как царь отвернется,
Полоснет недоверьем вдруг...
Ведь не зря его полководцы
Словно памятники вокруг.
Познакомь он их с письменами —
Не сочтешь и до двух минут,
Как Филиппа побьют камнями
Иль на копья его взметнут.
И Филипп отступил невольно.
— Что ты, царь? — Он поправил край
Одеяла. — Нещадно больно? —
Царь глаза опустил...

— Давай! —

Этот миг, что давно вчерашен,
К нам историк едва донес —
Царь берет у Филиппа чашу,
А Филиппу дает донос,
Пьет. И жадно следит очами,
Как меняется врач лицом,
Словно буря перед молчаньем,
Словно рыба перед концом.
Но стихает боль понемногу,
Веки медленные смежив.
Царь поверил врачу, как богу,
И за это остался жив.
Если б так же вот жил он дальше,
По дорогам идя своим.
Если б так же без лжи и фальши
Всюду ближние были с ним...
Стой, баллада. Молчите, перья.
Люди нынешние, не те, —
Принимайте тост за доверье
К человеческой чистоте!

СОДЕРЖАНИЕ

Баллада о надежде	3
Волжская баллада	4
Тасежная баллада	6
Баллада о двух гордецах	8
Баллада о привычке	11
Баллада о мальчике и мужчине	13
Баллада о красоте	14
Баллада об одной женитьбе	17
Баллада о старом кузнеце	19
Баллада о погибшей симфонии	23
Баллада о моем пращуре	24
<i>Из романа в балладах «Вода бессмертья»:</i>	
Баллада о безрассудстве	26
Баллада о доверье	29

Лев Иванович ОШАНИН

ТРИНАДЦАТЬ БАЛЛАД

Редактор М. М. Жигалова

Технический редактор Т. Я. Ковынченкова

Сдано в набор 29.09.86. Подписано к печати 18.12.86. А 00779.
Формат 70108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Гарамонд».
Офсетная печать. Усл. печ. л. 1,40. Учетно-изд. л. 1,58.
Усл.-кр. отт. 1,58. Тираж 80000 экз. Изд. № 54.
Заказ № 3796. Цена 15 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП,
Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

«КАРПАТЫ — 207»

Кассетный однокоростной магнитофон обеспечивает и стерео- и монофонические записи музыкальных, речевых программ, голосов птиц и животных с последующим воспроизведением монофонической магнитозаписи через внутренний громкоговоритель.

Цена — 265 руб.

ЦКРО «Радиотехника»